



ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО

УДК 78.01

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ДЕФЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВА

И.Н. НЕХАЕВА*Омский государственный
университет имени
Ф.М. Достоевского***e-mail:***Ira-Nekhaeva@rambler.ru*

Статья содержит иронический взгляд на искусствоведческую позицию, заключающуюся в применении к пространству искусства исторического измерения, ввергающего искусство в пространство языка, тем самым, обрекая его на пребывание в ограниченной области познавательного среза как дефектного продукта исторической интенции.

Ключевые слова: история, хроника, искусство, язык, познавательная деятельность, опыт.

С самого начала следует отметить, что язык, являясь адаптированной к разворачиванию познавательного движения средой, тем не менее, именно в области истории, по-видимому, имеет все шансы для преодоления не только направленной на познание интенции, но, в том числе, обнаруживает тенденцию к возможному переключению с языка на *опыт* и, как следствие, стремится к рассмотрению значения, взятого не в строгих рамках «теории», демонстрирующей «организаторские способности» языка, но устремленного покорять область культурных, нарративных и текстуальных значений путем выявления своего содержания из того *способа*, каким мир показывается в опыте, что, безусловно, приводит к тому, что в борьбе между теорией и опытом решающая роль отводится *субъекту*. При этом наиболее замечательным в границах историописания представляется факт отсутствия в нем претерпевания какого-либо ущерба со стороны главенствующей позиции субъекта, поскольку написание истории является не чем иным, как продуктом *авторского самовыражения*, в связи с чем, любую историю культуры можно рассматривать именно как *историю опыта*, в частности, акцентируя момент специфики восприятия людьми «прошлого» собственного мира, а также того, чем их опыт отличается от опыта «настоящего».

Однако надо признаться, что обозначенная выше тенденция совсем не характерна для искусствоведческой позиции, имеющей своей целью удовлетворение непреодолимого желания, начиная с любого вполне конкретного художественного произведения (вместе с его автором и заканчивая временем написания данного произведения), приурочить все это вместе взятое к *соответствующему историческому периоду*, а затем с чувством выполненного долга, заключающемуся в привлечении примитивного принципа «подтягивания за уши» не столько даже того, что касается жизни самого автора художественного произведения, но именно его творчества (а это, следует заметить, весьма «не-просто»,



как может казаться на первый взгляд, поскольку разговор идет вообще-то об искусстве). Однако, не обращая внимания на такие «мелочи», искусствовед торжественно ставит точку, загоняя в очередной «изм» произведение великого художника или композитора, где все это, благодаря языковым услугам будет ясно и отчетливо *объяснено, понято и переведено*. Стало быть, история искусства, как видится, направлена на *хронологические* похороны искусства с учетом принципа «правильности», дабы каждый шедевр имел бы надлежащий ему «гробик», называемый «документом», который при надобности можно было бы извлечь, также следуя выше обозначенному принципу, коль скоро история, понятая *таким* образом, должна быть именно *достоверной*, а ее подкреплением как раз служит, так называемый «исторический документ», поскольку, как традиционно полагаются, «всякая история в отрыве от живых документов есть лишь пустое изложение, лишённое достоверности именно в силу своей пустоты»¹. Тем не менее, «живительность» таких документов также не является полностью удовлетворительной, поскольку, как известно, действительной «истинностью» может обладать только опыт (если, конечно, категория «истины» к нему вообще применима), тогда как, использование чужих свидетельств в качестве неких *оснований*, как раз и демонстрирующих установление познавательной плоскости, в свою очередь, все внимание направляющей именно на поиск такой «истины», одновременно втягивая весь исторический процесс в языковое пространство, главным образом направлено на выявление некой *проблемы*, а если вдруг таковой не обнаруживается, то, следовательно, решение принимается аналогично тому, как это происходит в искусствоведческой среде, где все проблемы становятся *необходимыми*, а посему их следует просто придумать.

И в этом смысле нельзя не согласиться с Б. Кроче, утверждавшим, что наиболее существенным для историописания является не толкование, которое с его точки зрения есть «скопище пустых слов или формул, скрепленных актом воли»², а *критическое* осмысление проблемы, которой и становится сам исторический факт. Однако Кроче, к сожалению, совсем не учитывает специфики той *среды*, в которой он (или любой другой) вынужден решать поставленные проблемы, наличие которых уже подготавливает пространство разговора к опосредованию со стороны языковой обработке, и где, к тому же, данные проблемы только и могут существовать (и иногда разрешаться) исключительно в форме *толкований*³, поэтому, отрицая «толкования», Кроче тем самым одновременно уничтожает возможность построения плоскости, единственно в которой способны вообще проявляться обозначенные выше «проблемы». Отсюда, действительно существенным моментом становится отделение хроники от самой истории уже в силу того, что хроника не есть некая форма истории, поскольку она основана на совершенно *ином* духовном подходе, характеризующимся упрощенной деятельностью, направленной на регистрацию правильно сложенных абстрактных слов, имеющих своей целью процедуру фиксации *не* столько живого мыслительного процесса как результата осмысления, сколько простого сбора совокупности фактов.

Следует отметить, что данная точка зрения Кроче, прежде всего, основываясь на отличии истории от хроники, соответственно, как *мыслительного* акта от *волевого*, с самого начала разбивается о представление, установленное еще Спинозой, гласящее, что «воля и разум – одно и то же»⁴. И в этом смысле наиболее существенным представляется не противопоставление истории и хроники (хотя и это само по себе, безусловно, важно), но своевременное занятие критической позиции в отношении указания на тот способ экспликации исторического факта, при котором и хроника, равно, как и живая историческая мысль, становятся заложниками *исторического познания* как результата познавательного поведения духа. Отсюда, вполне адекватно, что сама история (если можно так сказать, «в душе»), по-видимому, согласна иметь в качестве своего основания хронику и документ, но исключительно в качестве «момента истины», вследствие чего, надо признаться, что повышенная степень частоты подобного рода исторических «откровений»

¹ Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 12.

² Там же.

³ Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М.: «Прогресс», 1988. С. 452.

⁴ Спиноза Б. Этика // Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. СПб.: «Наука», 1999. С. 328.



грозит «передозировкой», как правило, приводящей к проявлению исторической мысли исключительно в виде так называемой *филологической истории*, подчеркивающей свою значимость лишь тем, что имеет некую претензию на творение истории посредством составления хроники и документа. При этом совершенно не учитывается, что хваленая ею «достоверность» исходит не из живой исторической материи, а из авторитета, которым такая «история» всегда вынуждена руководствоваться, и главным образом именно для введения состояния *достоверности*. Подобным же образом действует и искусствоведение, имеющее лишь один из моментов такой «достоверности», в частности, заключающийся в установлении *общеизвестного*, а именно – дня, месяца и года рождения композитора или художника. Все остальное (вплоть до характеристики художественных произведений) принадлежит мысли авторитета, либо еще хуже – мысли непрофессионала, руководствующегося тем же самым желанием, что и филологическая история, то есть стремлением холодную отстраненность исторического истолкования заменить чувственной заинтересованностью, уснащенной «всплесками руками» и «закатыванием глаз», «восхищенными вздохами» по любому поводу, касающемуся самого художника, либо его произведения, что в итоге приводит к еще одной *дефектной* форме истории – *поэтической истории*, к сожалению, наиболее адаптированной именно к искусствоведению, являясь ее наиболее «искусным» отголоском.

Относительно сказанного может резонно прозвучать реплика по поводу того, что историк – это, прежде всего, человек, который по своей природе являясь цельным существом, включает в себя одновременно с мыслями еще и чувства, и что невозможно одно отделить от другого. Однако в этом случае следует провести коррекцию, казалось бы, простого представления о том, что история, все же оставаясь сугубо теоретической дисциплиной, является пространством демонстрации, скорее ценности *мысли*, нежели ценности *чувств*, в противном случае, неизбежность возникновения искажения диктуется не следствием живого восприятия событий, при котором вполне допустимым является факт переосмысления под знаком интуиции или фантазии, но по причине ложного выбора способа подборки и связи элементов, в результате приводящих к домыслам и вымыслам, что непозволительно для любой теоретической дисциплины. С другой стороны, следует согласиться, что уличить поэтическую историю в какой-либо ошибке, – если это, в конечном счете, не история, а поэзия, – нельзя, но разговор приобретает совсем иное содержательное наполнение, когда становится ясно, что ошибка состоит как раз не в конкретном действии, а опять-таки в претензии, когда поэзии присваивается титул «истории», наподобие того, как искусствоведению – титул «науки», не говоря уже о том, что сама этимология слова «искусство-знание» – знание искусства, является сущим абсурдом, поскольку такое действия, как знание, или познание, или «получение знания о», невозможно применить к искусству, да этого и не требуется никем, кроме самих *ценителей/оценщиков* искусства уже в силу того, что определение «ценности» произведения искусства, скорее присуще аукционам, нежели науке. В этом смысле удивительным является абсолютная нечувствительность искусствоведов (хотя их устремления свидетельствуют, как может казаться, об обратном), поскольку таких «ценителей» искусства совсем не тревожит ситуация, из которой они вовсе и не собираются выходить, а именно: в погоне за удовлетворением своих познавательных амбиций они все еще не могут преодолеть первой кантовской фазы чувственного созерцания, всякий раз нелепым образом приводящей представителей искусствоведческой среды в неописуемый восторг по любым поводам, приобретающей (как это давно уже стало ясно) угрожающий контекст традиции. Сложившееся положение дел очень напоминает ситуацию установления *ораторской*, или, так называемой, *риторической* истории, которая в античные времена имела весьма разнообразное предназначение⁵ в зависимости от намерений ораторов, направляющих все свои усилия, либо на обучение посредством примеров, что, скажем прямо, никак не способствовало развитию способности суждения, либо для проповеди добродетелей, либо для получения удовольствия. При этом ясным остается только одно – в современное время спрос на такой тип «истории» (особенно это касается искусствоведческой среды), к сожалению, остается весьма существенным.

⁵ Шестаков В. Предисловие // Античная музыкальная эстетика. М.: Государственное музыкальное издательство, 1960. С. 6.



Соответственно, если вслед за Кроче ставить задачу снятия столь странного положения дел, в которое попала история (и неважно, речь идет об истории искусства или какая-то другой истории), необходимо согласиться именно с тем, что ориентироваться в данной ситуации следует, прежде всего, на «то, что происходит в каждом из нас»⁶, а применительно к историку – на себя самого, иными словами, написание истории – это глубоко творческий процесс, по сути, являющийся *делом художника, переживающего историческое время* и, в результате, создающего настоящее *историческое произведение искусства*. Таким образом, Кроче, радуя за реформацию истории, и разделяя ее на «абстрактный» план и «конкретный», под «абстрактным» подразумевая реформирование исторической материи как таковой, а под «конкретным» – различные способы демонстрации истории в ее написании, в частности, призывает использовать последний вид реформации именно в качестве *исторической материи, взятой в ее конкретике*, утверждая при этом, что «в истории абсолютно нечего реформировать в абстрактном плане и абсолютно все нужно реформировать в плане конкретном»⁷. Однако ясно и то, что речь не может идти о реформации какой-либо конкретики, поскольку само написание истории является единичным действием, штучным материалом (по крайней мере, должно быть таковым), хотя, следует согласиться, что сама историческая материя в силу своей предельной абстрактности, все же, вынуждена сохранять способность реализации познавательного действия. Как следствие, любая мыслительная деятельность, направленная на осуществление данной способности, показывается исключительно в качестве абстрактного способа, позволяющего индивидуальности прочтения лишь демонстрацию своего участия, иными словами, место, из которого производится данное исполнение, является «общим» местом, но само исполнение есть путь, который может пройти только конкретный человек, и пройдет он этот путь лишь единожды, поскольку даже тиражирование такого «прохождения» есть уже нечто совсем иное, нежели то, что тиражируется, во всяком случае, не процесс простого повторения.

Таким образом, существенным в моменте установления исторического поля представляется необходимость подключения тенденции к преодолению «познавательности», а вместе с ней и детерминистской концепции, ясно выраженной в следующей формуле: «сначала собрать факты, потом объединить их причинными связями»⁸, являющейся чисто юмовским описанием познавательного процесса. Соответственно, сам акт преодоления познавательной интенции в области истории, вероятно, предполагает «нащупывание» таких условий, при которых становится возможным устранение ориентации в границах только лишь *теоретических* установок, однако, для этого требуется усмотрение некой *натуральной среды* в области мысли, влекущей за собой ситуацию постоянного поддержания мысли в обстоятельствах эмпирического состояния, то есть «*опыта* мысли», что, согласно Кроче, представляется единственно возможным при условии осуществления *философии* истории, коль скоро, по его мнению, свершение первоначальной причинно-следственной связи получает свое исполнение уже на стадии соединения внешних фактов и, далее не находя иных средств для поддержания дальнейшей связи, приводит к наделению этого отношения «значением». Иными словами, простого соединения ряда фактов недостаточно для того, чтобы схватить стройную цепочку фактов в их последовательности, движущихся в границах мысли, поэтому, согласно Кроче, необходимо из данного ряда извлечь *смысл*, дабы добиться требуемой стройности мысли, что оказывается допустимым в ситуации поддержания мысленной способности к протяжению посредством выявления и продления смыслового поля, а это, по мнению Кроче, можно осуществить только если историю будет сопровождать философия истории.

Следовательно, целесообразность установления подобного рода пространства «сопровождения», прежде всего, приводит к мысли о невозможности разделения процедуры познания сначала на голый сбор фактов, а затем на их причинное обоснование, поскольку известно, что познавательный процесс протекает так, что включает в себя одновременность свершения данных двух действий. Более того, «причинность» является объяснением рациональных действий разума, что в истории аналогично действию натурализ-

⁶ Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 31.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 40.

ма, хотя и основанного на живости наблюдения и эксперимента, но вне этих действий, когда актуальность воображения покидает исследователя, и мысль как бы остается в прошлом, натуралист начинает обращаться к абстрактным классификациям путем конструирования различных классифицирующих рубрик, под предлогом необходимости указания времени и места разворачивания событий в анализируемом художественном произведении, тем самым, вскрывая характер политической среды, то есть всего того, что возникает при остывании живого эстетического впечатления. Соответственно, стремление выявить *причину* и *цель* любого факта заранее помещает исследователя *вне* пространства самого этого факта, разрывая не только время (разделяя его на прошлое и настоящее), но в том числе определяет к установлению возможности разворачивания плоскости *трансцендентной концепции*, способствующей осуществлению процедуры навязывания живому процессу исторического переживания совсем иного состояния, а именно – *перехода в абстрактную плоскость*, являющуюся обстоятельством возможности преодоления границы между языком и опытом, и, тем самым, снятия момента постоянного вовлечения и присутствия историка в пространстве опыта с той лишь целью, дабы выявить причины и цель всякого факта, что представляется возможным только в языке, тогда как, напротив, переживание исторического факта как такового, являясь единственным условием удержания опытного пространства, позволяет мыслить этот факт именно «исторически». Кроме того, преследование процесса цементирования исторической мысли с помощью классификации фактов с позиции *добра* и *зла*, и, тем самым, населяя мир вместе с историческими персонажами добрыми и злыми делами, вносит нецелесообразность в установлении *ценностей*, выводящих и фундирующих мысль, вовсе отдаляя ее от непосредственно исторического, живого развертывания. Иными словами, мысли сообщается совсем не характерный для требуемого ею исторического насыщения *способ демонстрации*, поскольку именно такой способ, предусматривающий отстраненность и абстрактность взгляда, а не схватывание самого движения в живости акта представления и воображения в деятельности историка, становится причиной выведения самого этого историка *вовне*, снимая единственную возможность функционирования исторической мысли, взятой в опытном срезе, которая только и способна творить историю.

Следует отметить, что хотя Кроче и выступает против внедрения в историческую мысль *внешнего* уровня абстракции и классификации, однако, не совсем понятен способ преодоления такого положения дел, что становится ясно из следующего суждения. Если «задача истории объяснять, а не оглашать приговоры, то она должна формулировать только позитивные суждения и связывать одно добро с другим так прочно, чтобы между ними не оставалось места ни для зла, даже самого малого, ни для пустоты, которая, будучи таковой, также представляет не добро, а зло»⁹, что совсем не увязывается с утверждением о том, что мысль, дабы стать «исторической», должна быть именно *пережитой самим историком*, и речь должна идти только об этом, то есть помимо требований демонстрации мыслью собственных объяснительных возможностей, в противном случае, такая мысль теряет «исторический» статус, взамен, правда, приобретая «познавательный». И, тем не менее, в этой ситуации, Кроче настаивает на акцентировании исключительно языковой природы «исторической» мысли, отмечая при этом, что «историческое сознание как таковое есть сознание логическое, а не практическое, имеющее последнее одним из своих предметов...»¹⁰. В результате, становится ясно, что суть понимания исторического взгляда следует черпать из познавательной канва, основывающейся на противопоставлении мысли и самой жизни, а поскольку под «историей» подразумевается «прошлое», то, согласно данной позиции, жизнью история была лишь в прошлом, а сейчас она может выступать только в качестве ее подобия, то есть абстракции, которая, в свою очередь, как отмечает Кроче, уже не есть эта самая жизнь, соответственно, его позиция такова, что ему предполагается возможным проведение разницы между жизнью и мыслью, чего на самом деле не под силу сделать ни одному человеку, и с этим согласился бы любой.

С другой стороны, если допустить, что некоторая степень неясности, допустимая Кроче, ограничивается лишь выбором категорий, в соответствии с которыми неудачно

⁹ Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 54.

¹⁰ Там же. С. 55.



сложившаяся попытка введения пространства установления ассоциаций, в частности, понятия «мысли» с понятием «логических суждений», а понятия «жизни» – с «симпатиями и антипатиями чувств», привела к демонстрации кроचेанского взгляда на историю как на плацдарм разворачивания познавательной интенции, возможно, не в том примитивном варианте осуществления узко-специальных назначений, к которым можно отнести простую констатацию причин, о чем с самого начала и предупреждает Кроче. Однако следует согласиться с тем, что взгляд, исходящий из противопоставления «мысли» и «жизни», преследует цель вовлечения и жесткого удержания исторической материи в русле языка или познания, что, впрочем, одно и то же. Казалось бы, Кроче ратует именно за удерживание процесса *осмысления*, захватывая его в живом и деятельном аспекте, тем не менее, тут же требует от истории установки на *объяснение* тех фактов, которые уже не просто эксплицируются в ней, провоцируя активность и силу воображения историка, но явно демонстрируются с целью *указания* на некий, поднятый «со дна», и накинутый разумом на последовательность фактов смысл. Впоследствии, чувствуя несостоятельность того, что нечто, разорванное им (что по самой своей природе должно было быть вместе) в процессе рассуждений еще дальше отдалается, Кроче, все же, привлекает мысль о возможном соединении «жизни» и «мысли», позднее, в конце счете, отождествляя их, говоря о способности «прошлого» жить в «настоящем» посредством *воспроизведения* этого «прошлого» в «настоящем» в виде мысли, воссозданной как жизнь самих потомков.

Вместе с тем, высвобождение истории из познавательных пут оказалось делом весьма сложным и трудоемким, особенно в моменте возникновения понимания того, что в действительности история является делом самого человека. Здесь уже Кроче окончательно подчиняется ведущей роли познавательной функции, называя такой взгляд *гуманистическим*, как, впрочем, и саму форму истории, выступающую в качестве продукта данного взгляда, тем самым, подчеркивая, что «только та часть истории, которая занимается человеком, проницаема для разума и потому открывает возможность рациональных объяснений»¹¹. Отнюдь не случайно, что подобного рода историческая форма в своем начальном варианте имела ряд самых разных названий: рационалистическая, интеллектуальная, абстрактная, индивидуалистическая, психологическая, но наиболее устойчивым было признано самое «человеческое» из всех – это *прагматическая* история, нацеленная на обнаружение *причин* исторических явлений, эксплицируемых человеческим разумом. При этом удивительным является необычайная схожесть данной формы истории с теми принципами искусствоведения, которые главным образом руководствуются именно *символической* природой человека. Изооряясь в своих вымышленных объяснениях, обе эти формы имеют своим предметом не только конкретных индивидов, но, в том числе, и большие и малые события, наравне с индивидом, превращенные в абстракции, которые, соглашаясь с Вико, можно было бы назвать «фантастическими универсалиями», в согласии с которыми далее уже порождаются соответствующие им способы объяснения, которые следовало бы назвать «катастрофическими». Вся их суть сводится к поиску *определенного события*, которому, в конечном счете, и приписывается *решающая* роль, опять-таки, в условиях установления *оценочной* позиции, то есть в моменте «хорошего» или «плохого» поворота истории.

Данное положение дел, пройдя критическую стадию, вскоре переакцентировывается *со способа выяснения причинной обусловленности одних событий другими* на совершенно иной вариант, предусматривающий вскрытие самого мысленного процесса. И, тем не менее, следует заметить, что путь реализации крочеанской позицией гегелевского синтеза, безусловно, похвален, но его осуществление может считаться адекватным лишь в условиях проведения *строгих границ*, поскольку в любом случае речь идет о пространстве мысли, а не опыта (на самом деле, все сказанное должно касаться именно *опыта* мысли), но здесь речь идет о необходимости *различения* данных плоскостей, поскольку если говорится о *высказывании*, то все это следует относить к языку, а если о *действии* – то к опыту. Однако Кроче вовсе не стремится разграничивать эти две сферы, что становится ясно, к примеру, из следующего: «...в действительности же все высказанное означает, что заблуждается не тот индивид, который любит, трудится, жаждет покоя, а тот, ко-

¹¹ Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 58.

торый считает, что все это иллюзия: иными словами, иллюзорна сама иллюзия»¹². При этом он смешивает все – и опыт, и то, что человек «считает», и то, что все это есть всего лишь высказывание, которое, в итоге, и является иллюзией; на самом деле, «считает» он таковой вовсе не любовь и покой в их непосредственном действии, а само *высказывание* о них, по сути, являющееся их бледным подобием, и только поэтому – иллюзией. Тем не менее, в другом Кроче оказывается прав, утверждая, что во всем «виновата» *феноменология* мысли, возникновение которой оповещает о наступлении эры «абстрактности» путем *отделения результата от процесса*, а поскольку дух не существует отдельно от своей «свиты», то есть некоего механизма, обеспечивающего выполнение опыта самого духа, предоставляющего абстрактный продукт, то, соответственно, сами этапы процесса должны быть тождественны осуществляющейся в этих же этапах последовательности, вследствие чего, *результат не есть нечто иное, нежели процесс*. Однако Кроче должно быть известно, что как о «процессе», так и о «результате», мы вынуждены именно «говорить», то есть «помещать» все это в язык, являющийся не просто неким *третьим* синтетическим пространством, но именно тем способом, посредством которого уже невозможно будет соединить друг с другом пространство суждения и опыта даже при условии *понимания* того, что само это высказывание в некотором роде является опытной сферой языка, но, отнюдь, не действий человека, в которых он «любит, или желает покоя» – это совершенно чуждое для языка действие, и различие именно таких способов является делом «философской мысли».

Выходит так, что Кроче пытается прояснить специфику ситуации *идеалистической* истории, в которой главной целью представляется не установление некоей всеобщей абстракции как «момента истины» истории вообще, то есть так называемого «истинного» или «правильного» построения пространства истории, взгляд из которого, якобы всегда будет обусловлен неизменным присутствием налета «истинности», но ориентируется на факт невозможности и нецелесообразности разведения индивида и идеи, в отдельности представляющих собой не что иное, как две разрозненные абстракции, тогда как подлинной историей является «история индивидуального в его всеобщности и всеобщего в его индивидуальности»¹³. В связи с этим, как отмечает Кроче, невозможно, к примеру, забыть о Перикле ради политики, о Платоне – ради философии, или о Софокле – ради трагедии, но необходимо осмыслить политику, философию и трагедию через Перикла, Платона и Софокла, а последних – как воплощение политики, философии и трагедии в определенный исторический момент, что, безусловно, опять-таки становится возможным лишь в языке и, как следствие, является осуществлением интенции познавательной деятельности мысли.

Список литературы

1. Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. 192 с.
2. Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М.: «Прогресс», 1988. 704 с.
3. Спиноза Б. Этика // Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. СПб.: «Наука», 1999. С. 251-478.
4. Шестаков В. Предисловие // Античная музыкальная эстетика. М.: Государственное музыкальное издательство, 1960. С. 5-10.

COGNITION AS A DEFECT OF THE HISTORICAL DIMENSION OF ART

I.N. NEKHAeva

*Omsk state university
by name of F.M. Dostoevsky*

*e-mail:
Ira-Nekhaeva@rambler.ru*

Article contains an ironical sight at the art criticism position consisting in application to space of art of historical measurement, plunging art in space of language, thus, dooming iton stay in the limited area of a cognitive cut as defective product historical intention.

Keywords: history, chronicle, art, language, cognitive activity, experience.

¹² Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 63.

¹³ Там же. – С. 65.